

Отборочный этап проводится в форме отзыва, тексты для написания которого предлагаются заранее (приложение 3).

Участник олимпиады самостоятельно выбирает текст для написания отзыва.

Объем письменной работы должен быть не менее 2-3 страниц формата А 4 (шрифт 14, интервал 1,5).

Приложение 3

Задания для проведения отборочного этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»

Тексты для написания отзыва

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ

ПРИЗНАНИЕ

Я не пишу давно ни строчки
Про малый срок весны любой;
Про тот листок из зимней почки,
Что вдруг живет, полуслепой;

Про дым и пух цветенья краткий,
Про тот всегда неожиданный день,
Когда отметишь без оглядки,
Что отошла уже сирень;

Не говорю в стихах ни слова
Про беглый век земных красот,
Про запах сена молодого,
Что дождик мимо пронесет,

Пройдась по скошенному лугу;
Про пенье петушков-цыплят,
Про журавлей, что скоро к югу
Над нашим летом пролетят;

Про цвет рябиновый заката,
Про то, что мир мне все больней,
Прекрасный и невиноватый

В утрате собственной моей;

Что доля мне теперь иная,
Иной, чем в юности, удел, —
Не говорю, не сочиняю.
Должно быть — что ж? — помолодел!

Недаром чьими-то устами
Уж было сказано давно
О том, что молодость с годами
Приходит. То-то и оно.

1951

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
ЧАС РАССВЕТНЫЙ ПОДЪЕМА

Час рассветный подъема,
Час мой ранний люблю.
Ни в дороге, ни дома
Никогда не просплю.

Для меня в этом часе
Суток лучшая часть:
Непечатый в запасе
День, а жизнь началась.

Все под силу задачи,
Всех яснее одна.
Я хитер, я богаче
Тех, что спят допоздна.

Но грустнее начало
Дня уже самого.
Мне все кажется: мало
Остается его.

Он поспешно убудет,
Вот и на бок пора.
Это молодость любит
Подлинней вечера.

А потом, хоть из пушки
Громыхай под окном,
Со слюной на подушке
Спать готова и днем.

Что, мол, счастье дневное -
Не уйдет, подождет.
Наше дело иное,
Наш скупее расчет.

И другой распорядок
Тех же суток у нас.
Так он дорог, так сладок,
Ранней бодрости час.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

ФОТОГРАФИЯ

Я твоих фотографий в дорогу не брал:
Все равно и без них - если вспомним - приедем.
На четвертые сутки, давно переехав Урал,
Я в тоске не показывал их любопытным соседям.

Никогда не забуду после боя палатку в тылу,
Между сумками, саблями и термосами,
В груди ржавых трофеев, на пыльном полу,
Фотографии женщин с чужими косыми глазами.

Они молча стояли у картонных домов для любви,
У цветных абажуров с черным чертиком, с шелковой
рыбкой:
И на всех фотографиях, даже на тех, что в крови,
Снизу вверх улыбались запоздалой бумажной улыбкой.

Взяв из груды одну, равнодушно сказать: "Недурна",
Уронить, чтоб опять из-под ног, улыбаясь, глядела.
Нет, не черствое сердце, а просто война:
До чужих сувениров нам не было дела.

Я не брал фотографий. В дороге на что они мне?
И опять не возьму их. А ты, не ревнуя,

На минуту попробуй увидеть, хотя бы во сне,
Пыльный пол под ногами, чужую палатку штабную.

Ольга Берггольц

Ленинградская поэма

Отрывок

Вот так, исполнены любви,
из-за кольца, из тьмы разлуки
друзья твердили нам: «Живи!»,
друзья протягивали руки.
Оледеневшие, в огне,
в крови, пронизанные светом,
они вручили вам и мне
единой жизни эстафету.
Безмерно счастье моё.
Спокойно говорю в ответ им:
«Друзья, мы приняли её,
мы держим вашу эстафету.
Мы с ней прошли сквозь дни зимы.
В давящей мгле её страданий
всей силой сердца жили мы,
всем светом творческих дерзаний.

Да, мы не скроем: в эти дни
мы ели клей, потом ремни;
но, съев похлёбку из ремней,
вставал к станку упрямый мастер,
чтобы точить орудий части,
необходимые войне.

Но он точил, пока рука
могла производить движенья.
И если падал – у станка,
как падает солдат в сраженье.

Но люди слушали стихи,
как никогда, – с глубокой верой,
в квартирах чёрных, как пещеры,
у репродукторов глухих.

И обмерзающей рукой,

перед коптилкой, в стуже адской,
гравировал гравёр седой
особый орден – ленинградский.
Колучей проволокой он,
как будто бы венцом терновым,
кругом – по краю – обведён,
блокады символом суровым.
В кольцо, плечом к плечу, втроём –
ребёнок, женщина, мужчина,
под бомбами, как под дождём,
стоят, глаза к зениту вскинув.
И надпись сердцу дорога, –
она гласит не о награде,
она спокойна и строга:
«Я жил зимою в Ленинграде».
Гравёр не получал заказ.
Он просто верил – это надо.
для тех, кто борется, для нас,
кто должен выдержать блокаду.

Июнь – июль 1942, Ленинград

Илья Эренбург.

Путь к Германии (газета «Красная звезда», 20 июля 1944 года)

Истребление немецких дивизий, попавших в «Минский котел», длилось около недели. Немцы не сразу присмирели. Вначале они мечтали пробраться к своим. У них были танки, «Фердинанды», артиллерия. 7 июля берлинское радио бодро передало: «Сегодня третья годовщина германской победы у Белостока и Минска». Надо полагать, что белостокские немцы в тот день были уже охвачены дорожной лихорадкой. Что переживали немцы у Минска? 7 июля генералы Окснер и Дрешер отдали приказ; его текст предо мной: «Разведку производить путем офицерской разведки... Пробиваться в западном направлении... В целях сохранения военной тайны войскам об'являть лишь задачи дня... Непосредственно после выполнения огневых заданий разбить все оптические приборы, замки орудий закопать в незаметных местах... Всех солдат поставить в известность, что необходимо бесшумно подобраться как можно ближе к врагу и молниеносно на него напасть. Населенные пункты следует обходить... При каждом полку иметь радиоприемники и

передавать солдатам известия немецкого радио. Все явления распада пресекать жесточайшими мерами...»

Генерал-лейтенант Окснер, говоря со мной, признался, что на следующий день его дивизия была разбита. Сам генерал превратился в одного из блуждающих немцев, и в плен он попал без генеральских погон: маскировался. Правда, он спесиво заявил мне, что немецкие генералы не сдаются в плен; но этот разговор, естественно, происходил уже после того, как генерал сдался, и мне пришлось утешить обладателя пяти орденов и старого «национал-социалиста» арифметикой: я сказал ему, что за три недели был взят в плен 21 генерал – по одному на день – и что он не первый, а двадцать первый.

Что происходило в самом «котле»? Еще 28 июня унтер-офицер 476 противотанкового батальона 78 штурмовой дивизии Альфред Пакулль писал жене: «Что это была за паника, что за ночь! Несемся на запад, русские – по пятам... Да, что это была за паника! Я до сих пор не могу понять, как мне удалось выбраться? Мы шли через лес, через болота. Я хотел спасти своих людей и прежде всего свою собственную жизнь... Я не в состоянии этого описать. ...Теперь война развернулась по-настоящему, и может быть мне не суждено вернуться... Кончаю, потому что надо убегать, скоро здесь будут русские...»

В записной книжке ефрейтора Гейнриха Зегерса я нашел короткие записи: «25/6. Едва оторвались от противника.. Снова брошены в бой. 26/6. Мы рассеяны. 29/6. Идем на запад. 1/7. Мы снова разбиты. 3/7. Путь на запад закрыт партизанами. Идем к Минску. 4/7. Кольцо сомкнулось. Удастся прорваться? Или плен?» Пленные солдаты рассказывают, что часто офицеры гнали их вперед с пистолетами в руках. На всё был один ответ: «Фюрер приказал». Были крупные отряды бродячих фрицев с генералами и с «тиграми»; были и мелкие группы. Наши части уже подходили к Лиде и к Вильнюсу, а немцы всё еще надеялись добраться до Минска...

Я был на КП дивизии в лесочке. Мы ужинали, когда затрещали автоматы: крупный отряд блуждающих немцев оказался рядом с нами. Два часа спустя они проникли на соседний аэродром. Их били всюду и долго не могли перебить – ведь это были не сотни и не тысячи, а десятки тысяч, лохмотья двенадцати германских дивизий.

Глубокий тыл на несколько дней стал фронтом. Правда, немцы здесь мечтали не о завоеваниях, но о опасении. Однако были среди них и сильные отряды, которые прорывались через шоссе, нападали на сёла, чтобы раздобыть провиант. Зверь метался: то пробивался на юг, то поворачивал к северу.

Это были деморализованные немцы, но я хотел бы предостеречь читателей от неверных выводов. Не потому мы разгромили немцев в

Белоруссии, что они были деморализованы. 23 июня они еще верили в победу. Немцы в Белоруссии стали деморализованными, потому что мы их разбили. Нельзя принимать последствия за причину. Конечно, разбитые, потерявшие связь, заблудившиеся в лесах, немцы постепенно теряли не только военную выправку, но и веру в фюрера. «Кажется Гитлер не очень-то разбирается в положении», – сказал мне один унтер-офицер. Перед этим он четыре дня питался черникой, и образ жизни лесного анахорета, видимо, оказался полезным для его мозгов. Одиночки стали сдаваться, хныкая и причитая. Я видел этих ручных фрицев, они говорили: «Мы шли по сорок километров в день... Офицеры ехали, а мы шли... Неизвестно куда... Потом офицеры переоделись... А мы хотим жить...» Вот такие фрицы и замелькали в газетных корреспонденциях. Они не выдуманы, но, глядя на них, вспомним, что до этого состояния они доведены не листовками, а снарядами, минами и бомбами. Ручные фрицы стали смертельно бояться танков. За каждым деревом им мерещились партизаны. Бухгалтеры, пивовары, псевдо-философы и мото-мешочники мало приспособлены для жизни в лесу. Один жаловался, что ему пришлось спать на сырой траве... Так двенадцатилетний Алеша Сверчук привел 54 фрицев. Так корреспондент английской газеты «Таймс», проезжая по шоссе возле Минска, неожиданно напал на трофеи – на трех бродячих фрицев... Всё это похоже на оперетку, но этой оперетке предшествовала величайшая трагическая битва.

Загнанный в лес и окруженный 195-й полк решил сдаться. Два часа спустя парламентар явился вторично, заявив, что полк не может сдаться, так как пришли два других полка, которые решили атаковать русских. Действительно, два неукротенных полка попытались вырваться из окружения и были уничтожены. А 195-й полк, переждав в лесу шумную ночь, на утро сдался.

Помогли Красной Армии партизаны. Видал я, как отряд «Советская Беларусь» гнал из лесу пленных немцев: вчерашние каратели угодливо улыбались...

Всё же даже эти «ручные» немцы остались дикими. Я много раз говорил, что их не перевоспитаешь; говорю это и теперь, после грандиозной минской облавы. Вот аристократ – обер-лейтенант фон Брокаузен, у него пять орденов и пустота в голове. Он мне заявил: «С помощью самолетов-снарядов мы победим не только Англию, но и Америку, а потом двинемся снова на Россию...» ...Вот еще один кретин, капитан Зейферт из 256 артполка. Этот говорит: «Немецкому солдату не от чего унывать. Вам нужно наступление на десерт, потому что вы едите хлеб и кашу, а мы едим шоколад, пьем вино и у нас всегда сигареты...» Я

привожу эти дурацкие заявления, чтобы рассеять всякие надежды на моральное перерождение фашистов.

Многие солдаты мне говорили, что они надеются на самолеты-снаряды и на какие-то фантастические изобретения; немцы, дескать, нарочно пустили союзников в Нормандию, чтобы их уничтожить; Гитлер, видите ли, не отступает на востоке, а «сокращает линии», – говорили это жалкие фрицы, продрапавшие без передышки сотни километров и еле спасшие свою шкуру. Верно сказал мне ефрейтор Эндердт: «Немец туп, как доска, он не способен думать, он на всё отвечает: «точно так». Другой ефрейтор, Зуббарк подтвердил это суждение: «Наш народ стоит, как баран, и тупо смотрит на всё происходящее». А солдат Глехшмидт, тот пояснил: «Если Геббельс скажет, что не англичане высадились в Нормандии, а немцы в Англии, у нас это примут за чистую монету». Австриец Зауервайн, лейтенант, мне рассказывал, чем утешали себя немецкие офицеры после разгрома в Белоруссии: «Они говорят: ведь и русские отступали в 1941 году, ведь и англичане ушли из Дюнкерка. Я им пробовал напомнить, что одно дело начало, другое конец, и что такая катастрофа на шестой год войны непоправима, но они, усмехаясь, отвечали, что я не настоящий немец, а австриец». А генерал-лейтенант Окснер, вздыхая, говорит: «Маленький немецкий народ успешно сопротивляется», – как будто речь идет о бельгийцах или датчанах.

Бойцы не разговаривают с пленными, но сердцем они чувствуют, что немец остается немцем, и бойцы говорят: «Скорей – в Германию...»

Грустны города Западной Белоруссии: мусор, зола, несколько чудом уцелевших домиков. ...Настоятель католического собора Ганусевич мне рассказывает о черных годах. В селе Доры немцы собрали крестьян, загнали их в православную церковь и сожгли. Сожжен Ивенец. Там был немецкий палач по прозвищу «Чех». Он сам убивал, мучил, пытал. Он замучил 2600 жителей города.

Сожжена и Сморгонь. Здесь можно изучить «национальную политику» немцев. В Сморгони жили белорусы, евреи, поляки. Сначала немцы убили всех евреев. Они объявили, что Сморгонь – это польский город, и начали истреблять белорусов, а потом Сморгонь стала именоваться белорусским городом, и немцы принялись за уничтожение поляков... Немцы надеялись найти громоотвод для ненависти. Но все знают, кто виновник. Белорусы, поляки, литовцы – все ненавидят немцев.

Красная Армия спешила на запад. Гитлер хотел во что бы то ни стало удержать Вильнюс. Немецкие газеты не раз подчеркивали значение этого города для обороны восточных границ Германии. Кроме того, немецкие части, еще находящиеся у Нарвы и в Пскове, нервничали, видя, что Красная Армия подходит к Вильнюсу. Я видел немецкий план

оборонительных сооружений вокруг города. Я видел и эти сооружения... Однако порыв Красной Армии был настолько велик, что немцы не успели защитить подступы к Вильнюсу. Начались тяжелые уличные бои. После прорыва немецкой обороны в районах Витебска и Орши штурм Вильнюса был самой трудной операцией.

Как я говорил, немцы не спаслись из Белоруссии. В Вильнюсе сражались новые части. Были среди них стойкие, как, например, полки 2 авиадесантной дивизии. Были и плохенькие батальоны, составленные наспех из отпускников, жандармов, железнодорожников, обозников. С 3 по 8 июля в Вильнюс прибывали подкрепления. Пришла 671 бригада, недавно сформированная в Данциге из отпускников, пришел 1067 полк, кое-как сколоченный в Цвикау. Гитлеру пришлось подтянуть части из Германии. 7 июля в Вильнюс прилетел генерал-лейтенант Штаэль, которому было поручено руководить обороной города. Солдатам объявили приказ Гитлера: «Ни в коем случае не сдавать Вильнюс». А на южной и на северной окраинах уже были наши части.

Бой в городе – трудный бой, тем паче в таком городе, как древний Вильнюс. Здесь старые дома с толстейшими стенами, с глубокими подвалами, здесь узкие изогнутые улицы – щели среди высоких и крепких домов. Солдат «Кампфгрупп Вильнюс» поддерживали надеждой на помощь: «Скоро придут немецкие танки». Действительно, свыше сотни немецких танков попытались приблизиться к городу, но, встретившись с нашими, развернулись и ушли.

Немцы занимали центральную часть Вильнюса и тюрьму Лукишки. 11 июля их удалось выбить из района старых церквей, они ушли в роццу западнее города. Возможно, что они не знали об окружении: эта роцца стала капканом. В ночь с 12 на 13 июля немцы начали сдаваться.

Вильнюс уцелел. Правда, немцы подожгли немало домов, стараясь огнем задержать нашу пехоту. Но у них не было времени для планомерного и аккуратного уничтожения города. Бойцы генерала Крылова спасли город, дорогой всем его сыновьям – и литовцам, и полякам, и евреям, и русским, город славы, столицу Советской Литвы. Наполеон сказал о виленском костеле Анны: «Я хотел бы взять его и унести в Париж...» Гитлер не эстет, а поджигатель. Но ему не удалось сжечь Вильнюс.

13 июля с утра начали вылезать из подвалов жители. Они не были в праздничных одеждах, запыленные, измученные. Многие уже пять дней, как ничего не ели. На одной из центральных улиц находится кино «Пан». Немцы его сожгли и в нем сожгли загнанных туда жителей. Старый поляк мне говорил: «Немцы – это отчаянные злодеи. Они убивают и клеветают на честных людей. Когда мы здесь читали немецкие сообщения о Катыни, мы удивлялись одному: немецкому нахальству. Мы ведь знаем,

на что способны немцы...» Невыносимо тяжело было жителям Вильнюса под немецким игом: расстреливали целые улицы, дом за домом, квартиру за квартирой. «Они нас не считают за людей, – сказала мне учительница, – но вот мы дожили до дня свободы...»

Под городом на Понарах немцы убили девяносто тысяч евреев. Их убивали в течение трех лет – растягивая удовольствие. Казнями и пытками руководил палач Киттель, неудачливый киноактер из Берлина. В одном из зданий СД остались вещи, снятые с замученных и приготовленные для отправки в Германию. В гетто, где держали обреченных евреев, была подпольная организация. Во главе ее стоял рабочий Вильнюса, коммунист Виттенберг. Евреи, входившие в эту организацию, боролись до последнего часа. Их посылали на работы; они жгли немецкие склады, подкладывали мины на железной дороге, убивали немцев, когда могли и чем могли. Они подготовляли вооруженный побег из гетто. Сам Виттенберг предал себя в руки палачей, желая выиграть время: он хотел, чтобы его товарищи подготовились к побегу. Уйти удалось около 500 евреям – юношам и девушкам. Они вошли в партизанские отряды «За победу», «Мститель», «Смерть фашизму». Они помогали в дни борьбы за Вильнюс нашим войскам: ловили немцев, пытавшихся выйти из окружения. Я видел студенток виленского университета Рахиль Мендельсон и Эмму Горфинкель с ручными гранатами, девушек, хорошо знающих литературу, когда-то сидевших над книгами, а потом нашедших жизнь в бою. Они мстят немцам за растерзанных матерей и сестер. Я видел их, когда на улицах Вильнюса еще шли бои, и я еще раз благословил справедливость.

А бойцы спрашивали: «Сколько от Вильнюса до границы?..» Шли дальше – в дождь, в зной, среди шумных гроз июля.

«Мы не поспеваем за пехотой», – говорят летчики. – «За танками не угнаться», – вздыхают командиры пехотных полков. Но все поспевают. Чудесен ритм наступления: он превосходит человеческие силы. Не отстают и дорожники: только взят город, а уже и мост готов и даже висят дощечки. Теперь бойцам незачем спрашивать, сколько осталось до границы : об этом говорят дощечки на всех перекрестках. Я думаю, что даже американцы изумились бы, увидев, с какой быстротой наши железнодорожники восстанавливают пути. Что позволяет людям делать невозможное? Гнев. Близость Германии. Близость развязки.

Бесспорно, наши войска увидят перед собой новые мощные линии вражеской обороны, но позволю себе привести слова генерала Глаголева: «Линии сами не защищаются, чтобы защищать линии, нужны солдаты». За четыре недели Гитлер потерял в Белоруссии не только Белоруссию, но и десятки дивизий. А дивизии легко заменяются на первый год войны, но не на шестой...

В начале этой статьи я говорил о виленском кладбище Рос. Это не было романтической заставкой: там я увидел картину развязки. Среди мрамора и буйной травы на старых могилах сидели пленные немцы. Один из них, капитан Мюллерх, уныло говорил: «Что случилось? Три года тому назад мы шли на восток, оставляя вас в тылу. Мы как будто не хотели вас замечать. А теперь?.. Немцы еще были на шоссе Могилев–Минск, а вы уже ворвались в Вильно. Мы защищали здесь несколько улиц, а вы уже были у Немана. Теперь вы как будто не хотите замечать нас. И я спрашиваю себя – существуем ли мы?..» Он долго что-то бубнил под дождем. Вдруг раздался острый, невыносимый крик: упала ворона, раненая где-то на соседней улице и долетевшая до кладбища Рос, чтобы умереть у ног немецкого завоевателя.

Красная Армия продолжает наступать. Мы подходим к тем рубежам, где началась величайшая трагедия века. Три года горя сделали нас сильными и непримиримыми. Мы не узнаем нашей армии, да мы не узнаем и самих себя. В Германию придут суровые солдаты Справедливости. Теперь это не пророчество, не предсказание, не надежда, теперь это справка о самом близком будущем. Я видел этих солдат, и мне хочется от всего сердца сказать им: вот там, за тем лесом, за той рекой, за тем городом – счастье, большое человеческое счастье.

Григорий Бакланов

Навеки – девятнадцатилетние (отрывок)

Несколько дней на этом участке велись вялые бои. Неубранное поле пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов, черные воронки пятнили его. Ночами по хлебам уползала разведка: к немцам – наша, к нам – немецкая. И подымалась вдруг всполошная стрельба, начинали скакать ракеты, светящиеся пулеметные трассы секли по полю, осадисто и звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншее в общий счет безымянных жертв войны, а он чертил по земле каблуками сапог, пожелтелыми пальцами уроненной руки.

В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч взметнулся, огонь погнало ветром, перебросило через окопы, и по всей передовой и на высотке, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на наблюдательном пункте, сменив командира батареи, осталась выжженная до корней трав земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал все насквозь: и воздух, и еду, и одежду. Когда, обойдя свой круг над многими полями сражений, в дым и пыль садилось в тылу у немцев отяжелелое солнце и под пеплом облаков остывал

багровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он наливался светом, холодно блистал над черной землей. При зеленом его свете, глядя на свои руки, в которые въелась гарь, черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал иногда Третьяков, какие они отмытые были у него на болоте под Старой Руссой – кожа сморщенная, отмякшая, как после стирки. А станет переобуваться, чтоб хоть в голенище сапога подсушить край портянки, нога из нее – как неживая, как из воды нога утопленника. Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между нашим и немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и все на них было сырое. А весна затяжная стояла в том, сорок втором году, холодная. На майские праздники повалил вдруг снег, крупными хлопьями при солнце понеслась косая метель, зарябило над хмурой водой, весь их островок стал белым. Потом еще зеленой заблестела вытаявшая из-под снега трава. И не забыть, как среди ночи подскочил он от свистящего шепота: «Немцы!» Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившие небо, вода смутно блистала. Весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая спросонья, больше всего в свои семнадцать лет боясь, что еще за труса сочтут, Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть. Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов неслышно откачнулась волна. Еще одна. И пошли по воде, укачивая на себе лунный свет. Тень за тенью, без всплеска, из куста в куст – четверо. Только волна возникала и отделялась. Там, в кустах, всех четверых положили из карабинов. И по молодой своей глупости полез он поглядеть на немцев: какие они? Что-то в самом себе хотел выяснить. Полез и едва не погиб: один из разведчиков оказался живой еще. На себе Третьяков притащил его и, когда перевязывал, уже слабевшего, покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злобы к нему, ни ненависти, хоть немец этот только что в него стрелял. Он до сих пор так и не выяснил для себя многого, но война шла третий год, и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время на войне: что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее, а самое долгое, самое нескончаемое – то, что происходит сейчас.

Казалось, он уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, втянувшись в привычное фронтовое состояние, когда спал – не спал, в любой час и спать готов и подхватиться по тревоге. И многое он знал уже про своих бойцов, сидевших с ним вместе.

На фронте всегда так: место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно надежным. Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле, сматывали провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой

зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было сидеть, как безопасно. За обратным скатом высоты, в низине, пошли в полный рост. Здесь, в сыром логу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он прокопчен насквозь. Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется – и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на дорогу – и конец его и начало, – все теряется в пыли, многолюдна Россия. Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом году столько осталось зарытых и незарытых.

Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отсвет, в нем гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась в пыли горбатая от ноши пехота. И возникало на миг: высокий, на голову выше всех пехотинец, в белой на свету пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу; блеснуло смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронебойщика, скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосинной вонью, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты, втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею: медленно двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке. Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце, опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, Третьяков задремывал сидя, босые ступни его пригревало в затишке. Густо-синее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины деревьев плывут, плывут навстречу белым облакам... Он засыпал, просыпался... Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма, – закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо масляно блестит от близкого жара, глаза сожмурены... Кытин! Фамилия сама выскочила: Кытин.

Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали молодые деревца; какие-то из них, может быть, еще и оживут. Снял пилотку, шинель, стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем он увидел себя: кто-то, как цыган черный, глядел

оттуда. Щеки от пыли, набившейся в отросшую щетину, темные; запавшие глаза обвело черным, скулы обтянуты, они шелушатся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя стал не похож. Он отогнал к краю упавшие в воду сухие листья и водяного жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, коричневая, но, когда зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. Потом, вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять – столько он ее наглотался ночью. Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжелая артиллерия была с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев.

Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих воронок – и впереди, и позади, и прямые попадания, – огонь был силен. Этот грохот и слышали они на подходе. Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела, как стекло, мокрая крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин подсолнечника. Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти, где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил, наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно. Много видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая, манила, как непрожитая жизнь.

Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял эмалированный таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе гладил ветер по стриженным головам. Помкомвзвода Чабаров, скрестив ноги по-турецки, почетно сидел у таза.

...Все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно, не то что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды. Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудейные окопы, а они уже и поспать успели, и поели – вот это и есть взвод управления: разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек свободней душой. Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти. Макаю мясо в крупную

соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про Северо-Западный фронт, мокрый и голодный.

...Он все видел осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят сейчас в этом лесу, – до них здесь так же сидели на траве, – неужели от них от всех ничего не остается? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, взобравшись на недостижимую высоту. Неужели и мысль невысказанная, и боль – все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и придет час – отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие – Пушкин будущий, Толстой – остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?

Василий Быков

Обелиск (отрывок)

В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное широкое закругление, за которым показалось наконец и Сельцо. Когда-то это была помещичья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип, скрывавшими в своих недрах старосветский особняк – школу. Машина неторопливо приближалась к повороту в усадьбу, и это приближение новой волной печали и горечи охватило меня – я подъезжал. На миг появилось сомнение: зачем? Зачем я еду сюда, ...надо было приехать раньше, а теперь кому я могу быть тут нужен, да и что тут может понадобиться мне?..

Ну вот и приехал. ...Возле мостика через канаву торчал столбик со знаком автобусной остановки, за ним был виден знакомый обелиск с пятью юношескими именами на черной табличке. Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника, просто и без лишней затейливости сооруженный руками каких-то местных умельцев. Выглядел он более чем скромно, если не сказать, бедно, теперь даже в селах устанавливают куда более роскошные памятники. Правда, при всей его незатейливости не было в нем и следа заброшенности или небрежения: сколько я помню, всегда он был тщательно досмотрен и прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой, на которой теперь пестрело что-то из поздней цветочной мелочи. Этот чуть выше

человеческого роста обелиск за каких-нибудь десять лет, что я его помнил, несколько раз менял свою окраску: был то белоснежный, беленный перед праздниками известкой, то зеленый, под цвет солдатского обмундирования; однажды проездом по этому шоссе я видел его блестяще-серебристым, как крыло реактивного лайнера. Теперь же он был серым, и, пожалуй, из всех прочих цветов этот наиболее соответствовал его облику.

Обелиск часто менял свой вид, неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с пятью именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг в годы войны. Я уже не вчитывался в них, я их знал на память. Но теперь удивился, увидев, что тут появилось новое имя – Мороз А.И., которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской.

<...> – Кстати, а кто этот Мороз? Ей-богу, я ничего о нем не слышал.

– Мороз – учитель. Когда-то вместе тут начинали, – заметил Ткачук. – Я ведь сюда в ноябре тридцать девятого приехал. А он в октябре эту школу открыл. На четыре класса всего.

– Погиб?

– Да, погиб, – сказал Ткачук, неторопливо, вразвалку шагая рядом. По тяжелому, не слишком тщательно выбритому лицу промелькнула тень горечи.

Кажется, я что-то начинал понимать, о чем-то догадываться. Какая-то история со времен войны. Но Ткачук объяснял так отрывисто и скупое, что многое оставалось неясным.

– Так уж заведено. За все хорошее надо платить. И порой дорогой ценой.

<...> – Смерть... свой смысл имеет. Великий, я тебе скажу, смысл. Смерть – это абсолютное доказательство. Самый неопровержимый документ. Помнишь, как у Некрасова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь, иди и гини безупречно, умрешь не даром: дело вечно, когда под ним струится кровь». Вот! А тут крови пролилось ого сколько! Не может быть, чтобы зря. Да и Мороз доказал это самым красноречивым образом. Хотя ты ведь не знаешь... Ты же из редакции? – искоса глянул на меня Ткачук. – Знаю. Фельетончики пишешь и так далее. За правду-матку воюешь. ...Да нет, Мороз не осужденный, не пугайся. И не какой-то там прислужник немецкий. Тут дело другое...

Мифические трагедии не повторяются, а земля полнится собственными, подобными той, что некогда случилась в Сельце и о которой сейчас, переживая все заново, рассказывал мне Ткачук.

<...> – И тут – война. Сколько мы к ней ни готовились, как ни укрепляли оборону, сколько ни читали и ни думали о ней, а обрушилась

она нежданно-негаданно, как гром среди ясного дня. Через три дня от начала, как раз в среду, здесь уже были немцы. <...> Скоро пришла и моя очередь удивиться и озадачиться – это когда я спросил про Мороза, – продолжал Ткачук. Невестка и говорит: «Мороз все в школе работает». – «Как работает?» – «Детей, – говорит, – учит». Оказывается, своих пацанов собрал по селам, немцы дали разрешение открыть школу, вот он и учит. ... Вот так метаморфоза! От кого-кого, а от Мороза такого не ждал. ... Думаю, думаю, и никак в голове не укладывается, что Мороз – немецкий учитель. ... И знаешь, почувствовал я без слов, без заверений, что он наш – честный, хороший человек. Но ведь – школа! И с разрешения немецких властей...

«Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения. Плохому я не научу. А школа необходима. Не будем учить мы – будут оболванивать они. А я не затем два года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Сколько смогу, разумеется. Теперь все хватаются за оружие, – говорит Мороз, расхаживая по хате. – Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. И это понятно: мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому – чтобы перед своими выпендриваться. Ведь перед своими форсить оружием куда безопасней, да и применить его можно вполне безнаказанно, вот и находятся такие, что идут в полицию. Думаете, все понимают, что это значит? Далеко не все. Не задумываются, что будет дальше. Как дальше жить. Им бы только получить винтовку. Вон в районе уже набирают полицию. И из Сельца двое туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить».

И это правда, думаю. Но все-таки Мороз этот добровольно работает под немецкой властью. Как же тут быть? И внезапно, хорошо помню, подумалось, как-то само собой: ну и пусть! Пусть работает. Неважно где – важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на немцев. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть. Иначе для чего же тогда и жить? Разом в омут головой – и конец. ... Но, оказывается, Мороз этот работал не только для будущего. Делал кое-что и для настоящего.

Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел нас и берет шире и глубже. Пока мы по лесам шастали да заботились о самом будничном – подкрепиться, препятаться, вооружиться да какого-нибудь немца подстрелить, – он думал, осмысливая эту войну. Он и на оккупацию как бы изнутри смотрел и видел то, чего мы не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны.

...Мороз стал для нас самым драгоценным помощником среди всех наших деревенских помощников. Главное, как потом выяснилось, приемник достал. Не сам, конечно, – мужики передали. Так его уважали, так с ним считались, что, как и раньше, не к попу или ксендзу, а к нему шли и с плохим и хорошим. И когда отыскался где-то этот приемничек, так первым делом передали его своему учителю. Алесю Ивановичу. И тот потихонечку стал его покручивать в овине. Вечером, бывало, забросит антенну на грушу и слушает. А после запишет, что услышал. Главное – сводки Совинформбюро, на них самый большой спрос был. У нас в отряде ничего не имели, а он вот разжился. ...Мороз два раза в неделю передавал сводки в отряд – у лесной сторожки висела дуплянка на сосне, туда пацаны их клали, а ночью мы забирали. Помню, сидели мы той зимой по своим ямам, как волки, все сплошь замело снегом, холодина, глухомань, со жратвой туго, и только радости, что эта Морозова почта. Особенно когда немцев из-под Москвы шибанули, каждый день бегали к дуплянке...

<...> А в Сельце дела стали плохи. Ребят* заперли в амбар старосты Бохана. ...сидят ребята в амбаре, немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают. И ждут Мороза. По селу распустили слух, что вот-де как поступают Советы: чужими руками воюют, детей на заклятие обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурного мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же; правда, ребята держатся твердо, стоят на своем: ничего не знаем, ничего не делали. Да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить, и первым не стерпел Бородин, говорит: «...расстреливайте меня, не боюсь вас». Он взял все на себя, наверно думал, что теперь от остальных отвяжутся. Начали бить еще, вытягивать новые данные и про Мороза. Про Мороза особенно старались. Но что ребята могли сказать про Мороза?

<...> И вот в эту самую пору, в разгар пыток является сам Мороз. Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. Подошел Алесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице, у крайней избы, сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь – и во двор к старосте. Там, конечно, охрана, полицай как крикнет: «Стой, назад!» – да за винтовку. А Мороз уже ничего не боится, идет прямо на часового, прихрамывает только и спокойно так говорит: «Доложите начальству: я – Мороз». Ну, тут сбежалась полицейская свора, немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок.

<...> «Бандиты» оказались все в сборе, главарь налицо, можно было отправлять в полицейский участок. Под вечер вывели всех семерых из

амбара, все кое-как держались на ногах. ...Хлопцы еще в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Алеся Ивановича. Решили – схватили и его. Кстати, до самого конца никто из них иначе и не думал – считали, не уберется учитель, ненароком попался к немцам. И он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Говорил, что жизнь человеческая очень несоизмерима с вечностью и пятнадцать лет или шестьдесят – все не более чем мгновение перед лицом вечности. Еще говорил, что тысячи людей в том же Сельце рождались, жили, отошли в небытие, и никто их не знает и не помнит никаких следов их существования. А вот их будут помнить, и уже это должно быть для них высшей наградой – самой высокой из всех возможных в мире наград.

Наверно, это все-таки мало их утешало. Но то обстоятельство, что рядом был их учитель, их всегдашний Алесь Иванович, как-то облегчало их незавидную судьбу. Хотя, конечно, они бы многое, наверное, дали, чтобы он спасся.

<...> Рассказывали, что, когда вывели их на улицу, сбежалась вся деревня. Полицаи стали разгонять людей. И тогда старший брат близнецов Кожанов, Иван, пробрался вперед и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь». Немец ему парабеллумом в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ну, тот и выстрелил. Иван так и скорчился в грязи. Что тогда началось: крик, слезы, проклятья. Ну да им что – повели хлопцев.

Вели ...парами... Полицаев, рассказывали, было человек семь и четыре немца. Шли молча, разговаривать никому не давали. Да и не хотелось, должно быть, им разговаривать. Знали ведь, что ведут на смерть, – что же еще могло ожидать их в местечке? Руки у всех были связаны сзади. А вокруг – поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой.

Так подошли к леску с мостком. Мороз все молчал, а тут тихонько так спрашивает у Павлика: «Бежать можешь?» Тот сначала не понял, посмотрел на учителя: о чем он? А Мороз снова: «Бежать можешь? Как крикну, бросайся в кусты». Павел догадался. Вообще-то бегать он был мастак, но именно – был. За три дня в амбаре без еды, в муках и пытках умение его, конечно, поубавилось. Но все-таки слова Алеся Ивановича вселили надежду. Павлик заволновался, говорил, аж ноги задрожали. Показалось тогда, что Мороз что-то знает. Если так говорит, то наверное, можно спастись. И хлопец стал ждать. ... Такое волнение охватило парня, что, говорил, вот-вот сердце разорвется от напряжения. До ближнего кустика оставалось шагов двадцать, потом десять, пять. Вот уже и лесок

– ольшаник, елочки. Справа открылась низинка, тут вроде полегче бежать. Павлик смекнул, что, наверно, именно эту низинку и имел на примете Мороз. Дорога узенькая, два полицаи идут впереди, двое по сторонам, ...идут рядом, рукой дотронуться можно. И, конечно, все слышат. Наверно, поэтому Мороз и не сказал ни слова. Молчал, молчал, да как крикнет: «Вот он, вот – смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. Уловка не бог весть какая, но так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда же глянул. По только раз глянул, да как прыгнет, словно бы заяц, в противоположную сторону, в кусты, к низинке, через пеньки, сквозь чащобу – в лес.

Несколько секунд он все-таки для себя вырвал, полицаи прозевали тот самый первый, самый решающий момент, и парень оказался в чаще. Но спустя три секунды кто-то ударил из винтовки, потом еще. Двое бросились по кустам вдогонку, поднялась стрельба.

Бедный, несчастный Павлик! Он-то не сразу и сообразил, что в него попали. Он только удивлялся, что это так ударило его сзади промеж лопаток, и отчего так не вовремя подкосились ноги. Это его больше всего удивило, подумал: может, споткнулся. Но встать он уже не смог, так и вытянулся на колючей траве в прошлогоднем малиннике.

Что было потом, рассказывали люди, – слышали, должно быть, от полицаев, потому что больше никто ничего не видел, а те, кому пришлось видеть, уже не расскажут. Полицаи приволокли хлопчика на дорогу. Рубашка на его груди вся пропиталась кровью, голова обвисла. Павлик не шевелился и выглядел совсем мертвым. Приволокли, бросили в грязь и взялись за Мороза. Избили так, что и Алесь Иванович уже не поднялся. Но до смерти забить не решились – учителя надо было доставить живым, – и двое взялись тащить его до местечка. А тех шестерых довели до местечка и подержали там еще пять дней. Отделали всех – не узнать.

В воскресенье, как раз на первый день пасхи, вешали. На телефонном столбе у почты укрепили перекладину – толстый такой брус, получилось подобие креста, и по три с каждого конца. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных, то с одной, то с другой стороны. Для равновесия. Так и стояло это коромысло несколько дней. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, как бы не в сорок шестом, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к Сельцу.

Из семерых чудом уцелел один Миклашевич.

– Да, невеселая история, – сказал я.

– Невеселая что! Героическая история! Так я понимаю.

– Возможно.

– Не возможно, а точно. Или ты не согласен? – уставился на меня

Ткачук.

<...> – Поймите меня правильно. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано, – заметил Ксендзов.

– А его и не репрессировали. Его просто забыли.

– Ну пусть забыли. Забыли потому, что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Ну в самом деле, – оживился Ксендзов, – что он такое совершил? Убил ли он хоть одного немца?

– Ни одного.

– Вот видите! И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал – безрассудное...

– Не безрассудное! – обрезал его Ткачук, по нервному прерывающемуся голосу которого я еще острее почувствовал, что сейчас говорить им не надо. Но, как видно, у Ксендзова тоже что-то накипело за вечер, и теперь он хотел воспользоваться случаем и доказать свое.

– Абсолютно безрассудное. Ну что, защитил он кого? О Миклашевиче говорить не будем – Миклашевич случайно остался в живых, он не в счет. Я сам когда-то занимался этим делом и, знаете, особого подвига за этим Морозом не вижу.

– Жаль, что не видите! – чужим, резким голосом отрезал Ткачук. – Потому что близорукий, наверно! Душевно близорукий!

– Гм... Ну, допустим, близорукий, – снисходительно согласился заведующий районо. – Но ведь не я один так думаю. Есть и другие...

– Слепые? Безусловно! И глухие. Невзирая на посты и ранги. От природы слепые. Вот так! Но ведь... Вот вы скажите, сколько вам лет?

– Ну, тридцать восемь, допустим.

– Допустим. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так? А я ее своими руками делал. Миклашевич в ее когтях побывал, да так и не вырвался. Так почему же вы не спросите нас? Мы ведь в некотором роде специалисты. А теперь же сплошь и во всем специализация. Так мы – инженеры войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы...

– А что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза, – загорячился и Ксендзов.

– Подписал. Потому что дураком был, – бросил Ткачук. Жизнь – это миллионы ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент? И в чью пользу...

Что-то в Ткачуке надорвалось. Захлебываясь, словно боясь не успеть, он старался выложить все наболевшее и, должно быть, теперь для него самое главное.

...Асфальт бешено летел под колеса машины, с вихрем и шелестом рвался из-под них назад, фары легко и ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побеленными стволами...

Мы подъезжали к городу.

1971

Примечание. Ткачук – бывший партизанский комиссар.

*после покушения на полицаев.

Александр Иванович Куприн

Легенда

Высокий, худой и длинноволосый человек, в лице которого странно соединялась бледность голодной и нечистой жизни со строгой глубиной плачущего вдохновения, заиграл на скрипке. Это был торжественный, сказочный мотив -- то жалобно-прекрасный в верхних нотах, то звучащий мрачной скорбью в басах. И было в нем что-то средневековое, безнадежное, изысканно-слащавое, жестокое, длительное и страшное.

Меценат, хозяин дома, в красном халате, с блуждающими, безумными, огромными светлыми глазами, встал и, притворяясь озаренным восторгом творчества, начал импровизировать. И при этом рассчитанно-неверными, широкими, капризными движениями рукавов он опрокидывал на мокрую скатерть бокалы и рюмки.

-- Это было давно...-- говорил он, закрывая глаза, трясая головой и поднимая подбородок вверх, и у него выходило: "эття былля дэвно...", хотя он был русский, из хорошей дворянской фамилии, из правоведов.

-- Это было давно!.. О, как давно это было! Много веков прошло... О, как много веков... И об этом забыли. Это было страшно давно...

Тогда вдруг встал человек, до сих пор молчавший, почти никому не знакомый; кто-то привел его и даже не позаботился назвать его фамилию. Он был плохо одет, широкоплеч, мал ростом, вульгарен, со смешной конторской прической ежиком.

-- Позвольте мне, -- сказал он умоляющим голосом. И меценат, паясничая, пятясь назад, согнувшись в поясице, размахивая руками от груди к земле и назад, ответил клоунски вежливым тоном:

-- О, пожж-ж-жалуйста...

-- Начните сначала, -- строго сказал вульгарный человек скрипачу.

Только одним взглядом обменялись они со скрипачом, и незнакомец начал вместе с первыми звуками скрипки.

Это было давно. Много с тех пор погибло старых родов и много разрушилось замков.

Тогда старый замок стоял еще на скале среди озера. И знали все вокруг, что озеро это бездонно, замок неприступен, а длинный железный мост на огромных блоках подымается на ночь.

Король изредка писал письма владельцу замка, называл его кузеном и предлагал ему титулы и почести. Но гордый князь, вместо благодарности, вешал королевских послов на зубцах своих башен. Он никого не боялся. Замок его был неприступен, и припасов в нем всегда могло бы хватить на десять лет.

Князь был знатен, силен и безумно смел, хотя и было ему шестьдесят лет. С веселым орлиным криком, страшный в кровавом свете смоляных факелов, мчался он впереди своих воинов ночью через мост, и внизу плескались волны, и стук лошадиных копыт раздавался как плеск. Тогда пылали деревни, плакали женщины, и богатые обозы купцов брались как добыча.

Никто не знает, зачем он женился. Разве мало ему было красивых дочерей его вассалов? Разве не выдали бы за него любую дочь из богатого древнего рода? Он праздновал дикую, кровавую свадьбу, пил вино, бросал челяди горстями брильянты и огромными, страшными, бесцветными глазами глядел на молодую жену. Она была дочерью скромного художника.

Прошел длинный год, и еще один, и еще один. Бледнела молодая жена, страшнее и бессоннее становились глаза князя. Пылали по ночам деревни. И у женщин, осужденных на смерть, одичалые псы выгрызали внутренности.

Тысячи глаз стерегли прекрасную женщину. Но была одна пара глаз, которая глядела на нее с нежной страстью и говорила ей: "Вот моя жизнь. Возьми, если нужно. Я люблю тебя!.."

Однажды, -- так говорит темное предание,-- князь возвратился с охоты и застал молодого пажа, стоявшего на коленях перед его женой. Он велел вывести пажа на двор и в упор выстрелил ему в правый глаз из арбалета.

Но жены он не тронул. Он собрал свою буйную, послушную шайку, одарил ее золотом, как царь, и сказал:

-- Вы все свободны. Уезжайте.

И когда последний из них переехал на тот берег, князь своими руками поднял на визжащих блоках кверху железный мост, оборвал цепь, обломал блок и запер тяжелые ворота замка.

А когда последние из его шайки обернулись назад на замок, они увидели, как в башне, в самом верхнем окне, показался князь и как он бросил в бездонное озеро огромный железный ключ от ворот замка.

И проходили годы за годами. Одинокó стоял среди озера старóй, грозный замок. Никто не узнал его тайны. Теперь там одни развалины, мох и мусор, зеленые ящерицы, дикие благоуханные каприфолии... Что было с этими людьми? Много ли длились их мучения? Кто мучился больше?

Никто, никто не узнал этой тайны. Тихо плещутся волны о каменные своды... Слышится в этом плеске давний, страшный топот лошадиных копыт. Никто не узнает тайны.

Тихо, тихо плещутся волны...

Оба умолкли вместе -- и скрипач и импровизатор. И среди всеобщей чуткой тишины меценат сказал, презрительно фыркнув:

-- Все? Н-да-а. Немного, но жалостно.

1906